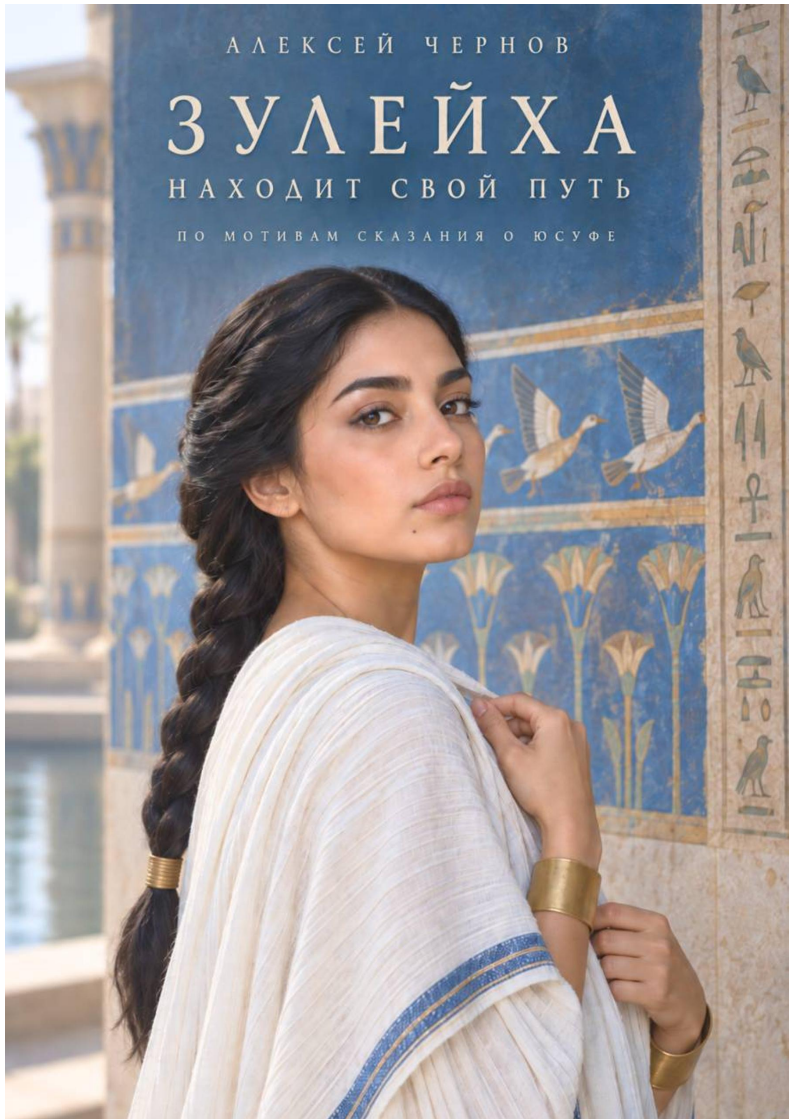


АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

ЗУЛЕЙХА

НАХОДИТ СВОЙ ПУТЬ

ПО МОТИВАМ СКАЗАНИЯ О ЮСУФЕ



Алексей Чернов

Зулейха находит свой путь

<https://litres.ru/74459113>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ей было пятнадцать, когда она впервые увидела его во сне и услышала имя. Ради этого имени дочь царя уехала за море, в чужую страну, к незнакомому мужу, и двадцать лет расплачивалась за одну ошибку: она приняла желание владеть за любовь.

Одно слово, сказанное в минуту отчаяния, стоило свободы невиновному. Потом от нее одно за другим ушли дом, имя, красота и зрение, и не осталось ничего, кроме прямой спины и места в пыли у стены темницы, где она просидела тринадцать лет.

Исторический роман о женщине, которая искала мужчину, а нашла себя. Древний Египет, невольничьи рынки, суд, голодные годы и хлеб, который раздают у царских житниц. Книга написана по канве двенадцатой суры Корана, Книги Бытия и суфийской поэмы Джамии «Юсуф и Зулейха», но это не религиозное чтение: это история о том, как человек теряет все и впервые становится свободным.

Содержание

Глава 1. Первый сон	4
Глава 2. Имя	21
Глава 3. Дорога	34
Глава 4. Чужой дом	48
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Алексей Чернов

Зулейха находит свой путь

Глава 1. Первый сон

Зулейха проснулась от собственного крика.

Крик был высокий и чужой, и она не сразу поняла, что он вышел из ее горла. В покоях стояла темнота, густая и теплая, а где-то в глубине дома скрипнула дверь, простучали по камню быстрые шаги и все снова стихло. Потом по стене качнулся желтый свет.

— Ты чего? Ты чего кричала-то?

Наиль влетела босая, держа светильник на отлете, и платок у нее сполз на плечи, а забрать его обратно было нечем: вторая рука была занята кувшином.

— Я думала, в дом залезли. Я как вскочила, чуть не своротила все, а в плошке масло, оно же горячее, я потом руку... ну неважно. Ты чего кричала?

Зулейха сидела и дышала так, будто пробежала весь сад от ворот до стены. Ответить она не могла: слова были еще где-то далеко, а она сама была еще не совсем здесь.

В коридоре кто-то спросил, что стряслось, и ему ответили, что ничего. Наверху хлопнула дверь, и голос матери повторил тот же вопрос и получил тот же ответ. Дом умел встре-

вожиться из-за нее в один миг и так же быстро успокоиться.

Наиль поставила кувшин, толкнула ставню, и в комнату вошел прохладный воздух из сада, пахнувший влажной землей.

— Приснилось, — сказала она сама себе, довольная тем, что нашла объяснение. — Ну конечно приснилось, чему тут еще быть.

Она села на край постели и стала растирать госпоже ладони, как растирают человеку, который замерз на ветру.

— Холодные-то какие, ты гляди. Бабка моя говорила: дурной сон Расскажи вслух, он и уйдет. Он темноты держится, а на свету не живет. Или это про другое было. Про порчу, кажется. Ну все равно рассказывай.

— Наиль.

— Нет, ты рассказывай, а я послушаю, мне не в тягость. Тебе водички налить? Ты пей, пей, у тебя губы белые.

— Наиль.

Служанка замолчала и посмотрела на нее снизу вверх. Зудейха повернула лицо к свету, и Наиль увидела, что госпожа плачет: слезы шли ровно, без всхлипа, как идут у человека, который сам их не заметил.

— Принеси воды и оставь меня.

— Так вот же вода, я принесла.

— Тогда просто оставь.

Наиль постояла, поправила съехавший платок и вышла, притворив дверь тише обычного. Кувшин остался у посте-

ли, запотевший с боков. Зулейха вытерла лицо ладонью и долго разглядывала мокрые пальцы, словно там могло что-то остаться.

Она легла обратно и закрыла глаза, чтобы вернуть. Возвращалось кусками, и каждый следующий кусок оказывался меньше предыдущего.

Сначала свет. Не солнце и не огонь, а тот свет, какой бывает перед самым рассветом, когда разглядеть еще ничего нельзя, а темноты уже нет.

Потом вода. Она текла совсем близко, ее было много, и звук стоял такой, будто дом поставили посреди реки.

Потом голос. Слов Зулейха не разобрала и даже не была уверена, что там вообще были слова, но говорили так, как говорят с человеком, которого знают давно и хорошо.

Еще там был сад, но не их сад: деревья стояли редко, между ними по узким канавкам шла вода, и вода эта была не для полива, а так, для красоты. Она подумала во сне, что такой роскоши на свете не бывает.

И он стоял рядом.

Зулейха лежала в темноте и старательно собирала его лицо, как собирают разбитую чашу. Лба не было. Глаз не было. Было место, где всему этому положено быть, и от этого места шло тепло, ровное, как от нагретого за день камня.

Зато другое она помнила подробно и без всякого труда. Она не боялась и не искала, что бы такое сказать. Не прове-

ряла, ровно ли лежит покрывало и так ли она держит голову, не думала, как выглядит со стороны. Она вообще о себе не думала, и легко ей было так, как не бывало ни разу за всю ее жизнь. В груди у нее, оказывается, всегда лежало что-то тяжелое, и узнала она об этом только сейчас, потому что во сне этой тяжести не было.

А потом все стало уходить. Свет уходил не быстро, а как уходит вода в песок, и Зулейха потянулась и схватила пустоту, и от этого рывка ее выбросило наверх, в темноту, в свою комнату, к своему одеялу.

Вот тогда она и закричала. Не от страха. Так кричат, когда из рук вырывают то, что успели подержать.

Она села, обхватила колени и попробовала еще раз собрать лицо. Один раз ей показалось, что вышло, и она замерла, боясь спугнуть, и держала это осторожно, как держат полную чашу на вытянутых руках. Потом присмотрелась и увидела лицо учителя, которого не стало, когда ей было девять.

Значит, лица не будет.

Но осталось другое, и это другое не делось никуда до самого утра: она узнает его, если увидит. Не по бровям, не по росту и не по голосу, а так, как узнают в темноте собственный дом, по запаху и по тому, как отзывается пол под ногой.

Под утро, засыпая, она поняла странную вещь.

Ей хотелось обратно не к нему. Ей хотелось к себе такой.

Утро пришло раньше, чем она успела заснуть как следует. Со двора донесся плеск: работник лил воду в желоб, и лошади приезжих толкались мордами и мешали ему. Из кухни потянуло горячими лепешками. Дом просыпался в том самом порядке, в каком просыпался всегда, и никому в нем не было дела до того, что ночью что-то случилось.

Наиль вошла со свертками тканей, и следом две девушки несли остальное на вытянутых руках.

— Привезли с побережья. Синее, зеленое и вот это, дорогое, которое царь велел тебе первой показать, потому что если раньше твои тетки увидят, так после них выбирать нечего будет.

Зулейха посмотрела мимо свертков, в окно.

— Синее.

— Ты и не глянула даже.

— Синее, Наиль.

— В прошлый раз ты про синее сказала, что в нем похожа на мокрую рыбу, я запомнила, я потому и не брала его больше.

— Значит, буду мокрой рыбой.

Наиль поставила руки на бока и посмотрела на нее так, как смотрят на ребенка, который врет неумело и сам это знает. Потом она отослала девушек, села на пол и стала складывать вчерашнее платье, разглаживая ткань ладонью по колену.

— Ты не спала.

— Спала.

— Подушки мокрые. Я не слепая. — Она откусила торчащую нитку. — Ты в позапрошлом году с лошади упала, помнишь? Так ты весь дом на ноги подняла, кричала на всю округу, и я тебя потом два дня уговаривала ногу показать. А сегодня покричала и молчишь. Мне вот это не нравится.

— Тогда было больно.

— А сейчас?

Зулейха отложила лепешку, которую держала, чтобы занять руки.

— А сейчас было хорошо, — сказала она. — В этом все и дело.

Наиль подумала над этим, ничего не поняла и на всякий случай спрашивать перестала.

К полудню в женские покои пришла мать, а с ней три женщины, при которых в доме говорили решительно обо всем. Принесли гранатовый сок в медных чашах, расселись по подушкам, и разговор пошел сам собой, как идет вода по давно прорытому руслу.

— Сегодня опять приезжали с востока. Коней привели, четырех.

— Кони у восточных хороши, что говорить.

— Кони хороши, а земли у них с ладонь.

— Земли с ладонь, зато сыновей полон дом. У старшего, говорят, лицо доброе.

— Доброе лицо это когда свое, — сказала третья и отпила из чаши. — А когда сватают, так у всех лица добрые, я это

еще за своей дочерью помню.

Женщины засмеялись, и мать засмеялась вместе с ними, чуть позже остальных.

— За морем земли много, только за море далеко.

— Далеко это для нас с тобой. Для царя недалеко.

— Я не поеду за море, — сказала Зулейха.

Женщины повернулись к ней и посмотрели ласково, как смотрят на кошку, которая вспрыгнула на стол, а потом вернулись к своему.

— А у южных вода солоновата, мне рассказывали.

— Вода дело поправимое, воду возят.

— Кому поправимое, а кому ее пить каждый день.

Зулейха слушала и думала о том, что говорят о ней ровно так же, как говорили бы о хорошем поле: где оно лежит, много ли дает, кто его возьмет и не солон ли там вода. Мысль пришла целиком и сразу, чужая, и Зулейха сама испугалась, откуда она взялась. Раньше такие разговоры ее не задевали ни разу.

Она поставила чашу и вышла в сад, унося на одежде запах ладана, которым здесь было прокурено все. Разговор за ее спиной не прервался даже на слово.

В саду было тихо и жарко, и у стены росло молодое деревце, которое мать посадила в тот год, когда родилась дочь. Оно уже давало тень, но такую короткую, что накрывала она одни плечи.

Мать вышла следом и встала рядом, не прикасаясь к ней.

— Ты бледная сегодня.

— Жарко.

— Может, тебе к воде спуститься, там прохладнее, хотя, конечно, если голова болит, то и вода не всегда... — Она замолчала и начала заново. — Отец думает решить до осени. Он считает, что тебе будет спокойнее, если ты узнаешь заранее.

— Спокойнее будет.

— Ты ведь можешь мне сказать, если что-нибудь.

— Мне нечего сказать.

Мать помолчала, поправила ей прядь у виска и не стала настаивать. Она вообще никогда ни на чем не настаивала, и Зулейха давно к этому привыкла и ни разу не задумалась, хорошо это или плохо.

Оставшись одна, она пошла не обратно в покои, а к воротам, где всегда былолюдно. Работники таскали корзины, писец сидел в тени и считал мешки, шевеля губами, у коновязи стояли двое приезжих и молодой парень при них, весь в дорожной пыли. Зулейха встала за столбом, у самой стены, и стала смотреть на лица.

Ее, конечно, увидели сразу. Писец согнулся ниже над своими мешками, приезжие отвернулись к лошадям, а подручные принялись нести желоб так старательно, будто в мире не было ничего важнее этого желоба.

Она смотрела на писца, пока тот не поднял голову. Смотрела на парня у коновязи, на сына привратника, на двоих

подручных, что несли желоб вдвоем и ругались, кому держать тяжелый конец. Ни одно лицо ни на что не отозвалось, и ни одно даже не было близко.

Работники были работники: у одного не хватало зуба, у другого на щеке остался старый след от ожога. Живые, потные, занятые своим делом лица, и разглядывать их было все равно что разглядывать стену.

Тогда она поняла, чем занимается, и ей стало жарко от стыда: стоит дочь царя за столбом и разглядывает подручных. Она вернулась в сад, встала в короткой тени своего дерева и первый раз в жизни захотела, чтобы день поскорее кончился.

В дальних комнатах женской половины жила старуха, которую в доме звали нянькой, потому что она выходила мать Зулейхи и осталась при покоях, когда та выросла. К ней ходили с дурными снами, с пропавшими серьгами и с тем, о чем не говорят при мужчинах.

Зулейха пришла к ней после полудня, когда весь дом спал. Старуха сидела на полу и перебирала чечевицу, откладывая мелкие камешки в сторону, и руки у нее двигались сами, без всякого ее участия.

— Садись.

— Я ненадолго.

— Сядь. Стоишь как посол.

Зулейха села.

— У меня подруга спрашивает.

— Ну пусть спрашивает.

— Ей приснился человек, которого она не знает. Ни разу в жизни не видела. И теперь она... — Зулейха запнулась и не нашла нужного слова. — Ей нехорошо.

— Нехорошо это как? Тошнит?

— Она хочет обратно.

Руки старухи остановились над миской. Она подняла голову и посмотрела на Зулейху долго и спокойно, без всякого любопытства, как сверяют человека с чем-то давно и хорошо знакомым.

— А он наш?

— Кто?

— Ну этот. Из наших краев или нет?

Зулейха открыла рот и закрыла.

— Я не говорила, что видела человека.

Старуха вернулась к чечевице, и камешки застучали о край миски.

— Ко мне ходят, когда приснится покойная родня или пожар. С этим просто. Тебе не пожар приснился.

— А что мне приснилось?

— Дорога.

Зулейха ждала продолжения, но старуха молчала и перебирала, и пришлось спрашивать самой.

— Что значит дорога?

— А ты куда собралась?

— Никуда. Меня выдадут замуж, и я уеду, вот и все.

— Это не дорога, — сказала старуха. — Это перевозка.

Слово было грубое, но она сказала его без насмешки, назвала вещь тем словом, которое к ней подходит.

— Нянька. А бывает, что человек, который приснился, есть на самом деле?

Старуха отставила миску.

— Ты спроси иначе. Спроси, бывает ли, что его нет.

— И как?

— Не бывает. Из ничего ничего не снится. Только тебе это не в радость, девка. Пока он был во сне, он был твой, а теперь ты станешь искать.

— Не стану.

— Станешь. Ты уже сегодня у ворот стояла.

— Откуда ты знаешь?

— Оттуда, что у нас в доме сорок человек и все языкатые.

— Старуха подобрала с пола укатившийся камешек. — Про тебя к обеду знали, что ты подручных разглядывала. К вечеру будут знать, что ты ко мне ходила.

Зулейха промолчала и опустила глаза на свои руки.

— А если я все-таки захочу узнать, кто он?

— Не узнаешь. Спрашивать про такое нельзя, только напутаешь. За таким можно идти следом, а спрашивать нельзя.

— Куда идти? Я и лица его не помню.

— Значит, еще не время.

Зулейха встала и у самой двери обернулась.

— Скажи хоть, бывает такое у других?

Старуха думала долго.

— Бывает. Только они потом всю жизнь носят это в себе и молчат. — Она наконец посмотрела прямо. — И ты молчи. Расскажешь, засмеют, а матери расскажешь, так тебя выдадут до осени, а не до зимы, чтобы дурь скорее вышла.

Зулейха шла обратно длинным переходом, где стены были толстые и держали прохладу до самого вечера. Дом был тот же самый: те же ниши, те же ковры, та же щербина на пороге, о которую она разбила колено в шесть лет. Все стояло на своих местах, и почему-то от этого делалось не по себе.

Раньше ей казалось, что дом большой.

У поворота ее нагнала одна из женщин, что сидели утром с матерью, взяла за подбородок и повернула лицо к свету.

— Хороша, — сказала она с удовольствием. — До осени как раз дойдешь.

И пошла дальше, довольная собой. Зулейха постояла, потом вытерла подбородок ладонью, хотя вытирать там было нечего.

В ту же ночь, за много дней пути от ее дома, в холмах Ха-наана Йахуза сидел на камне и слушал, как внизу воет собака. Собака выла у самого колодца, и это было хуже всего.

— Уймите ее, — сказал старший. — Уймите, я вам говорю.

Никто не встал. Их было десять у костра, и все десять гля-

дели в огонь, потому что глядеть друг на друга никому не хотелось.

Йахуза считал, что все правильно. Он считал так с утра, когда они уводили мальчишку в холмы, и считал так днем, когда тот шел впереди и оборачивался, и радовался, что его наконец взяли со всеми. Он считал так и сейчас. Но собака была, и в такт ей у него дергалась жила на шее.

— Отец завтра спросит, — сказал кто-то.

— Отец спросит, мы скажем.

— Что скажем?

— Что зверь. Что не уследили. Мало ли тут зверья.

Старший поднялся, взял с земли рубаху и бросил ее младшему брату.

— Испачкай.

— Чем?

— Козленка резали? Ну вот.

Рубаху передавали из рук в руки, и каждый брал ее за самый край, двумя пальцами, будто она была горячая. Йахуза взял тоже. Ткань была тонкая, крашеная, и таких в их доме не носил никто, кроме одного человека.

Он подумал, что вся беда началась именно с этой рубахи. Отец сшил ее мальчишке, а остальным не сшил. Отец сажал его рядом, а остальных не сажал. И когда тот пришел к завтраку и стал рассказывать свой сон про звезды, которые ему кланяются, никто из них не засмеялся, потому что смеяться уже не выходило.

— Он же там живой, — сказал младший.

— Живой.

— Так, может...

— Может, — сказал старший. — Утром придет караван, они всегда у этого колодца поят. Придут за водой, вытащат и заберут себе. Это не наша забота будет.

— А если не придут?

Старший не ответил, и все поняли, что отвечать он не собирается. Йахуза лег на спину, и над ним стояло небо, полное звезд, и деваться от них было некуда.

Караван пришел на рассвете. Йахуза видел издали, как водонос опустил ведро и как потом закричал и позвал остальных, и как они долго возились, а после вытащили. Мальчишка стоял между чужими людьми и вертел головой, отыскивая своих на холме.

Он их нашел. Йахуза точно знал, что нашел, потому что тот перестал вертеть головой и замер.

Они спустились и отдали его за двадцать кусков серебра, и цена была дешевая, но торговаться никто из них не стал. Потом караван ушел на юг, и пыль над дорогой висела еще долго после того, как скрылись последние.

Домой они шли молча, и рубаху нес младший, потому что старшему ее нести было нельзя: он должен был идти впереди и первым говорить с отцом.

Собака за ними не пошла. Она осталась у колодца и села возле него, как садятся ждать.

Ужинать Зулейха в тот вечер не стала. Наиль принесла рыбу с луком и чечевичную похлебку, постояла над ней, поворчала, что так и заболеть недолго, и унесла обратно почти нетронутым. В доме зажигали светильники, со двора долетал разговор работников, потом ворота закрыли на ночь, и стало тихо. Отец ужинал с приезжими, и через двор был слышен его смех, короткий и громкий, каким он смеялся всегда, когда дело шло хорошо.

Зулейха сидела у окна и ждала темноты, и стыдилась того, что ждет.

Она никогда в жизни ничего не ждала. Все, чего она хотела, приносили ей на вытянутых руках, и от этого хотеть было почти нечего. А теперь она сидела у окна, как сидят слуги, когда ждут возвращения хозяина, и не могла придумать, чем себя занять до ночи.

Наиль вернулась, зажгла второй светильник и села в углу чинить подол.

— Госпожа.

— Что.

— Если бы ты мне рассказала, что там было, я бы никому.

Зулейха посмотрела на нее. Наиль сидела над подолом, не поднимая глаз, и видно было, чего ей стоило это выговорить.

— Я знаю, что никому.

— Ну и?

— Нечем рассказывать, Наиль. Слов таких нет.

Наиль подумала.

— Тогда ладно, — сказала она и откусила нитку.

Она посидела еще немного, погасила второй светильник и ушла к себе.

Луна вышла поздно, белая и маленькая. Зулейха положила локти на подоконник и уставилась в темноту над садом, где не было совсем ничего: стена, крыши, черные верхушки деревьев, а дальше песок до самого края земли. Она подумала, что за этим песком лежат другие страны и в них живут люди, которых она никогда не увидит, и раньше эта мысль была для нее скучной, как счет мешков у писца, а сегодня от нее сделалось тесно в комнате.

— Кто ты? — сказала она.

Голос вышел тише, чем ей хотелось. Так спрашивают, когда заранее знают, что не ответят. От стены вернулось ее собственное слово, короткое и глупое, и больше ничего не вернулось. Внизу заскрипел и стих желоб, кто-то из слуг прошел по двору с огнем и скрылся за углом.

Зулейха попробовала сказать еще раз, громче, и не смогла: оказалось, что спрашивать вслух стыдно даже тогда, когда тебя никто не слышит. Тогда она сказала это про себя.

Ответа не было и про себя.

Она легла, вытянула руки поверх покрывала, как кладут их девочки, когда старательно ложатся спать, и стала считать вдохи. На двадцатом сбилась, на тридцатом перестала считать.

Она закрыла глаза, надеясь снова увидеть его лицо.
И он пришел.

Глава 2. Имя

Она проснулась не от крика.

То, что пришло к ней перед рассветом, было тем же самым: тот же свет, та же вода в узких канавках, тот же человек рядом. Только на этот раз у нее ничего не отняли. Свет ушел сам, тихо, будто кто-то вынес светильник из комнаты и прикрыл за собой дверь.

Зулейха лежала и слушала, как в ней стихает то, что еще недавно было полным. Ни воды, ни голоса. Осталось теплое место в груди, где все это стояло, и оно медленно остывало, как остывает камень, когда солнце уходит за стену.

Он ушел сам. Значит, вернется.

Мысль была такая простая и такая огромная, что Зулейха испугалась ее сильнее вчерашнего крика. Она прижала ладонь к груди, туда, где еще держалось тепло. Под ладонью было только ее собственное сердце, и билось оно ровно, буднично, словно ничего этой ночью не случилось.

Наиль вошла с подносом, толкнув дверь плечом, потому что руки были заняты, и следом потянулся запах горячих лепешек.

— Ну хоть не кричала сегодня. Я всю ночь просыпалась, слушала. Дура, конечно. Через стену-то что услышишь. Держи, ешь.

— Не хочу.

— Мало ли кто чего не хочет. — Наиль поставила поднос ей на колени, как ставят точку в споре. — Хлеб свежий. Я сама глядела, чтоб не пересушили.

Зулейха отломилла кусок и стала крошить его в пальцах, не поднося ко рту.

— Наиль. Солнце высоко?

— Только встало. Рано еще.

— А до вечера долго?

Наиль остановилась, не донеся гребень до ее волос.

— До вечера? Целый день. — Она повела гребнем по тяжелой косе, разбирая ее с конца. — А тебе вечер зачем? Ты вчера от него бежала. Сегодня торопишь.

— Просто так.

— Просто так люди про обед спрашивают. Не про вечер.

Зулейха промолчала. Она смотрела, как солнце переползает по полу от двери к постели, и думала, что никогда прежде не следила за светом. Теперь ей предстояло следить за ним весь день, пока он не уйдет и не начнется другой: тот, за которым она уже стояла в очереди.

— Сегодня принеси мне обед сюда. К матери я не пойду.

— Заболела?

— Нет.

— А чего тогда? Она обидится.

— Скажи, что голова.

Наиль отложила гребень и посмотрела на нее сверху: так

смотрят на посуду, не треснула ли где.

— Белая ты. А глаза горят. Не пойму. — Она подумала и решила не продолжать. — Ладно, скажу, голова. Только ты ей в глаза не гляди. Она у тебя все с лица читает, я так не умею.

Служанка собрала гребень, кувшин и полотенце и вышла, оставив дверь приоткрытой, чтобы был слышен двор. Зулейха осталась одна с подносом на коленях и с целым днем впереди, который надо было чем-то занять, потому что ждать оказалось тяжелее любой работы.

У постели стояло медное зеркало. Прежде она бралась за него по нескольку раз на дню: поправить бровь, повернуть лицо к свету так и эдак, поймать себя в темной меди. Она взяла его, поднесла, и оказалось, что ей все равно, хороша ли она сегодня. Такого с ней не бывало ни разу за всю жизнь. Зеркало она положила лицом вниз и до вечера к нему не приоткрылась.

К полудню жара загнала весь дом в тень. Зулейха, ничего толком не решив, пошла туда, куда шла всегда, когда не знала, куда идти, в дальние комнаты, к няньке.

Старуха сидела там же, где вчера. Только перед ней лежала не чечевица, а моток спутанной шерсти, и она разбирала узлы неторопливо, один за другим, будто у нее был на это весь остаток жизни.

— Явилась. — Нянька не подняла головы. — Вчера ты

меня про подругу спрашивала. Сегодня про сестру будешь?

— Я посидеть.

— Садись, раз пришла. Только не ври мне под моей же крышей.

Зулейха села на пол напротив, взяла с края клочок шерсти и стала перебирать его без всякой цели, лишь бы руки были заняты.

— Он приходил снова.

— Приходил или ты его звала?

— Не знаю. Я легла, и его не было. А под утро свет ушел сам. Тихо.

Нянька отложила шерсть и долго молчала, глядя мимо нее, в стену.

— Это хуже, чем вчера, — сказала она наконец.

— Почему хуже? Меня хоть криком не разбудило.

— Вчера у тебя отняли, и ты закричала. А сегодня он сам ушел, и ты смолчала. — Старуха покачала головой. — Человек приучается глотать. Сперва проглотишь уход, потом проглотишь ожидание, а там и до вечера дотерпишь, лишь бы вечером опять дали. Так и живут после всю жизнь на подачках.

— Я не жду подачек. Я жду его.

— А в чем разница, девка? Объясни мне, старой.

Зулейха не нашла что ответить и стала смотреть на свои руки, в которых так и лежал клочок шерсти, весь теперь перепутанный заново.

Нянька подхватила с пола узел, который не давался ей дольше прочих, подержала на свету и не стала тянуть.

— Видишь? Силой не возьмешь. Дернешь, только туже сядет. — Она опустила шерсть на колени. — Тут не рвать надо. Тут ждать, пока сам покажет, за какой конец браться.

— А если не покажет?

— Тогда так и просидишь над ним до старости. Я вон сижу.

В комнате было душно и тихо, только в стене посвистывал ветер, залетающий через отдушину.

— Ты хоть узнала что-нибудь, кроме того, что он есть?

— Он говорил. Слов я не разобрала. А если сегодня разберу?

— Тогда узнаешь имя. — Нянька сказала это просто, будто речь шла о том, что скоро поспеют финики. — И это будет хуже всего.

— Почему хуже?

— Пока имени нет, можно думать, что это сон и только сон. А назовешь, деться уже некуда. Будешь искать его по всей земле.

Зулейха сидела, обхватив колени. И, сама от себя не ожидая, привстала и позвала в сторону приоткрытой двери громче, чем хотела:

— Наиль!

Служанка явилась сразу. Стоять под дверью она не могла: просто дом был мал, а слух у нее был хороший.

— Звала?

— Назови мне всех мужчин в доме. По именам.

Наиль моргнула, но переспрашивать не стала: она давно научилась молчать, когда госпожа говорит таким голосом.

— Ну. Хамди у ворот. Раши-конюх. Старый Дауд, который скот пасет, хотя он теперь больше сидит, чем пасет. Писец, Идрис его звать. Подручные, но их я по именам не всех, они меняются. Отец, ну это ты и сама.

— А чужие? Кто приезжал за лето?

— Приезжали. Купцы с побережья, погонщики при них, потом эти были, с востока, коней приводили. Разве всех упомнишь? Они и в дом не входят дальше двора. — Наиль потянула на себя край платка. — Тебе их зачем, госпожа?

— Не надо. Иди.

Наиль постояла, ожидая объяснения, не дождалась и вышла, оглянувшись у двери.

Зулейха повторила про себя все имена по очереди: Хамди, Раши, Дауд, Идрис. Ни одно не подошло. Ни одно не легло на то место в груди, где все еще была теплая пустота с утра.

— Ни одно, — сказала она вслух, сама себе.

И тут же услышала, как это звучит со стороны: дочь царя сидит на полу и перебирает конюхов, как ищут пропавшую серьгу.

— А ты думала, будет одно из этих? — Нянька снова взялась за шерсть. — Он не из нашего дома, девка. Я тебе вчера сказала: спроси, куда собралась. Дом твой тут, а он не тут.

— Тогда откуда мне его узнать?

— А я почему знаю. — Старуха дернула узел, и он неожиданно легко распустился у нее в пальцах. — Вот и живи с этим до вечера. Тебе полезно.

День все не кончался. Дважды ей показалось, что солнце стоит на месте. Зулейха прошла садом, посидела в тени и снова поднялась; тень от стены ползла по земле так медленно, как ползет по краю светильника капля масла.

К вечеру мать нашла ее у водоема. Зулейха сидела на каменном бортике, опустив пальцы в воду, и смотрела, как расходятся круги.

— Наиль сказала, у тебя голова болела.

— Прошло уже.

Мать села рядом, аккуратно расправив подол, и какое-то время тоже смотрела на воду, как смотрят на самую занятную вещь на свете.

— Ты сегодня другая.

— Устала.

— Устала от чего? Ты же ничего не делала.

Зулейха промолчала, и мать, кажется, сама услышала, что вопрос вышел неловкий.

— Я не в упрек. Может, тебе нездоровится. Или... ты о свадьбе думаешь? Отец опять заговаривал. Но ведь ничего не решено. Он только думает.

— Я не думаю о свадьбе.

— Тогда о чем?

— Ни о чем, матушка. Правда.

Мать провела ладонью по воде, проверяя, теплая ли она, и вытерла пальцы о подол.

— В твои годы я тоже ни о чем не думала, — сказала она.

— Вернее, думала. Только говорить было некому, вот и вышло, что ни о чем.

Она хотела сказать что-то еще, уже и губы приоткрыла, но передумала и только вздохнула, как вздыхают, когда решают не трогать. Она долго смотрела на дочь сбоку. Зулейха чувствовала этот взгляд щекой, но лица не повернула и все водила пальцами по воде.

— Хорошо, — сказала мать наконец. — Не хочешь говорить, не говори. Я подожду, когда захочешь.

Она поднялась, отряхнула подол и пошла вглубь сада, туда, где начинался переход на мужскую половину. Зулейха смотрела ей вслед, и пальцы, опущенные в воду, стали холодными: а если сейчас, вот прямо сейчас, мать пойдет к отцу и расскажет то, чего сама толком не знает, но чувствует?

Она просидела у воды дольше, чем собиралась, глядя на проем, за которым скрылась мать, и считая свои вдохи, чтобы не считать другого.

Мать вернулась, когда уже стемнело. Она прошла мимо, ничего не сказала, только на ходу коснулась ее плеча и задержала ладонь чуть дольше обычного, словно проверяла, на месте ли дочь. Ни та ни другая не заговорили о том вечере

ни в этот день, ни после.

Зулейха ушла к себе. Ее пожалели и промолчали, и это оказалось тяжелее, чем если бы выдали.

В ту же ночь, на первом ночлеге по дороге на юг, горел один костер на весь караван.

Костер был скупой: сушняк в этих холмах под ногами не валялся, за ним лазили по склонам и жгли ровно столько, чтобы отогнать зверье да сварить чечевицу. Вокруг вповалку спали погонщики, пахло остывающей золой, потом и пыльной шерстью выючных ослов, а за кругом света стояла темнота дороги, из которой пришли и в которую предстояло уйти.

Хозяин каравана присел на корточки рядом с мальчиком и взял его за подбородок, поворачивая лицо к огню, как поворачивают кувшин, проверяя, нет ли трещины.

— Зубы хорошие, — сказал он не то мальчику, не то себе. — Кожа чистая. Тощий только.

— Тощего откормим, — отозвался скупщик, сидевший поодаль. — Были бы кости целы, мясо нарастет.

Водонос, тот самый, что вытащил мальчика из колодца, подошел ближе и встал так, чтобы его было видно.

— Я его достал. Мне полагается доля.

— Тебе полагается то, что тебе дали, — сказал хозяин, не оборачиваясь. — Ты воду продаешь, а не людей. Людей продаю я.

— Без меня вы бы его и не увидели.

— Значит, повезло тебе, что я щедрый человек.

Скупщик коротко засмеялся и щелкнул языком, отгоняя мошку от лица.

— Двадцать кусков серебра за него уже отдано, — сказал он. — А в первом же городе за такого дадут меньше. Мелкий, кости торчат, и своих там хватает, покрепче.

— Значит, кормить, — проворчал хозяин. — Кормить его, это мое зерно и моя вода.

— Зерно вернется. Подрастет, раздастся в плечах, тогда и цена будет другая. — Скупщик поднялся и отряхнул одежду. — С таким спешить нельзя. Такого продают не в первые руки.

Скупщик разломил лепешку надвое и протянул половину мальчику.

— Ешь. Кто не ест, тот дешевлеет.

Мальчик взял и стал есть медленно, откусывая понемногу, как едят те, кто не знает, когда дадут в следующий раз. Он сидел у самого огня, обхватив колени, и не шевелился, будто разговор шел не о нем, а о тюке, который решают, куда везти.

— Куда мы едем? — спросил он, и голос у него был ровный, без дрожи.

Все трое посмотрели на него так, как смотрят, когда заговаривают вещь.

— Далеко, — сказал скупщик после паузы. — Ты и не представляешь как.

— А там что?

— Там царь. Там река, которая кормит целую страну. Будешь делать, что велят. И хорошо, если работа выпадет нетяжелая.

Мальчик кивнул так, как кивают на разговор о завтрашней погоде, и снова замолчал, глядя в огонь.

— Ты чего не плачешь? — не выдержал водонос. — Все они по первости плачут, воют, мать зовут. А этот сидит как каменный.

Мальчик поднял на него глаза и ответил не сразу.

— Меня уже продали один раз сегодня. Я поплакал утром. Водонос хмыкнул и отошел. Хозяин ничего не сказал, только подкинул в огонь сухую ветку, хотя огня и так хватало. Он поглядел на мальчика еще раз, дольше обычного, и что-то дрогнуло у него в лице. Тут же он отвернулся и позвал остальных ложиться: выступать решили с рассветом, пока не жарко.

Костер догорал медленно. Мальчик лег последним, свернувшись у самого края света, а водонос, укладываясь, еще долго ворчал вполголоса про свою долю, которую ему так никто и не дал.

Наиль пришла гасить светильник и задержалась у постели дольше нужного.

— Ты сегодня к няньке ходила.

— Ходила.

— И имена у меня спрашивала.

— Спрашивала.

— Я-то что, мне все равно. — Наиль поправила фитиль, хотя поправлять его было незачем. — Только дом у нас глазастый. К утру станут говорить, что ты кого-то из наших выглядываешь.

— Пусть говорят.

— Матери говорят, — сказала Наиль и задула огонь.

В тот вечер Зулейха легла раньше обычного и долго лежала с открытыми глазами, заставляя себя ждать.

Сон не шел. Она ловила в темноте всякий скрип дома, дальний собачий лай, и чем дольше вслушивалась, тем дальше отступало то, чего она ждала. Один раз ей показалось: вот сейчас, вот-вот. Но в тишине стучало только ее сердце.

Тогда она стала перебирать имена шепотом, чтобы не услышали за стеной. Имена царей, о которых пели сказители. Имена женихов, что сватались к ее теткам, а в лицо она не знала ни одного. Имена из длинных восточных песен, красивые и нарочно придуманные, чтобы их петь.

Ни одно не отозвалось. Каждое падало в темноту, как падает камешек в сухой колодец: звук есть, а воды нет.

Она устала ждать раньше, чем сама это заметила. Всю жизнь сон приходил к ней незванный и уходил, едва она открывала глаза, и она думала о нем не больше, чем о воздухе. А теперь она лежала и упрашивала его, как упрашивают у чужих ворот, чтобы пустили погреться, и ей было и стыдно, и уже почти все равно.

Мысли соскользнули на дневное: моток шерсти в руках у няньки, имена, круги по воде. Где-то там, между шерстью и кругами, она уснула, не заметив перехода.

И тогда он пришел, не так, как под утро, не вспышкой, а медленно, будто кто-то долго шел к ней издалека и наконец дошел.

Сначала снова был свет, тот же самый, предрассветный, ничей. Потом сад с узкими канавками. Потом, ближе, чем прежде, голос. Он звучал не издалека, а у самого уха. И в этот раз в нем были слова, ясные, как если бы их говорили на ее родном языке, хотя она знала, не должны были.

Всей фразы она не разобрала, сколько ни вслушивалась. Разобрала одно слово.

Это было имя.

Зулейха вынырнула из сна рывком, будто ее вытолкнуло на поверхность воды, и села в темноте, чувствуя удары где-то у горла. Имя еще стояло у нее во рту, целое, готовое. Она открыла губы, чтобы повторить его вслух, и оно ушло.

Она сидела одна в темноте, шевелила губами, ловила пустоту и не могла произнести ни звука.

Глава 3. Дорога

К вечеру Зулейха перепробовала все звуки, какие только есть в человеческом голосе. Ни один не подошел к тому пустому месту во рту, где ночью стояло имя.

Она пробовала их с самого утра, беззвучно, одними губами, чтобы не услышали за дверью. Начинала с тех, что рождаются в горле, переходила к тем, что тают на языке, и всякий раз ей казалось: вот сейчас, еще немного. Имя лежало рядом, как вещь в темной комнате, про которую знаешь, где она, а рукой не находишь.

Обедать она не стала, и поднос унесли нетронутым. Гребень весь день пролежал на своем месте: коса растрепалась еще с ночи, и Зулейха не заплела ее заново, а к полудню перестала и замечать, что волосы лезут в лицо. Медное зеркало лежало лицом вниз, как она положила его накануне, и перевернуть его ей не пришлось в голову ни разу.

К закату у нее разболелась голова, от жары и оттого, что она весь день слушала себя изнутри, как слушают дальний шум и не могут разобрать, гроза это или телега.

Один раз она вышла в переход, туда, где хорошо слышно кухню и двор. Дом говорил обычное: кого-то звали, кто-то отвечал, у ворот торговались из-за дынь. Она стояла и ждала, что среди этих голосов кто-нибудь по случайности произнесет то самое, и она узнает его на слух.

Никто не произнес.

К вечеру по дому пошло, что госпожа занемогла. Ей принесли отвар, который она вылила в водоем, и приходила старшая над женщинами спросить, не позвать ли лекаря. Зулейха ответила, что устала от жары, и отпустила ее так быстро, что это заметили.

Ночью она не стала его звать.

Накануне она упрашивала сон и стыдилась этого даже в темноте. В этот раз Зулейха легла на спину, вытянула руки вдоль тела и стала ждать так, как ждут дождя: молча, зная, что от слов ничего не переменится.

Он пришел перед рассветом, и между ними больше не было расстояния. Свет стоял где-то позади всего, ровный, как день за прикрытыми ставнями, и она на него не смотрела. Ближе света был человек, и он говорил. Слова шли подряд, и ни одно не терялось по дороге.

— Ты меня искала, — сказал он.

— Я не знаю, кого я ищу.

— Знаешь. Ты целый день перебирала звуки.

Лицо было близко. Она смотрела на него жадно, как смотрят на воду в жару, и уже во сне ей было ясно, что и этого она не унесет с собой.

— Скажи, как тебя зовут. Мне назвали, а я не удержала. Все до единого звука.

Он ответил не сразу. Так отвечают, когда решают не отнимать.

— Юсуф.

Имя легло на пустое место точно, как ложится знак в сырую глину.

— Юсуф, — повторила она за ним, пробуя. — Где ты?

— В Египте.

— Это далеко?

— Дальше, чем ты думаешь. Там одна река кормит целую страну.

— А кто ты там?

— Азиз.

Слово было чужое и легло на язык тяжело, будто во рту оказалась гладкая холодная вещь.

— Я не знаю такого слова.

— Узнаешь.

Она хотела спросить еще, и вопросов было много, но получился один.

— Ты придешь завтра?

— Тебе больше не надо меня ждать по ночам, — сказал он. — Теперь ты знаешь, куда идти.

Свет за ним не погас, а стал уходить вбок, и вместе со светом ушло лицо, и осталась одна темнота ее собственной комнаты.

Зулейха открыла губы. В этот раз имя не ушло.

— Юсуф, — сказала она вслух.

Ночь стояла душная, летняя, из тех, когда простыня липнет к плечам, и все-таки в комнате сделалось холодно, слов-

но где-то рядом открыли дверь в погреб. Она подобрала под себя ноги, обхватила колени и просидела так до света, повторая имя одними губами. Теперь уже не для того, чтобы вспомнить, а чтобы не потерять.

Ей было указано, куда ехать.

Отец позвал ее через несколько дней. За все лето он не звал ее к себе ни разу, и в женских покоях об этом говорили с самого утра.

В приемной было прохладно и пахло сухим тростником. Таймус сидел на своем месте, у двери писец разложил на коленях сырую глину, а мать держалась поодаль, у занавеси, будто зашла по дороге и сейчас пойдет дальше.

— Подойди. И слушай не перебивая. Я решил. Обсуждать нечего.

Зулейха подошла и остановилась там, где ей полагалось стоять.

— Вчера я принял послов из Египта. Сватается Азиз египетский, управитель дома и всех хранилищ их царя. Человек с весом, и не только у себя.

Отец говорил, как считают: сначала главное, потом подпорки.

— Дары привезли не бедные. Крашеная шерсть, алебастр, масло в запечатанных кувшинах. Такое посылают, когда уже решили и не торгуются.

Зулейха слышала не все. Она держалась за одно слово, ко-

торое отец обронил и пошел дальше, и оно стояло у нее в ушах, как стоит звон после удара по меди.

— Земля богатая. У них река разливается каждый год, и голода они не знают даже в дурные времена. Твои дети будут сыты, что бы ни случилось с нами.

Мать шевельнулась у занавеси и ничего не сказала.

— Выйдете, как спадет жара. С караваном до моря, дальше морем, а там снова посуху. Дорога дальняя, и обратно по ней не ездят.

Он поднял ладонь, останавливая то, чего еще не случилось, и Зулейха потом долго вспоминала этот жест. Он был приготовлен заранее, под слезы.

— Я согласна.

Она сказала это раньше, чем он договорил, и в приемной стало тихо. Писец поднял голову от глины.

— Что? — переспросил Таймус.

— Я согласна. Я поеду.

Отец смотрел на нее долго и молчал, и она успела перебрать за него все слова, которые теперь оставались без дела: и про долг, и про род, и про то, что дочерей не спрашивают.

— Ты не спросила, сколько ему лет.

— Не спросила.

— Ты не спросила, каков он собой, и есть ли у него другие жены, и как там говорят с чужеземкой. Ты ни о чем не спросила.

— Мне это не нужно.

Мать шагнула от занавеси.

— Может быть, ей до утра подумать. Ведь ничего не горит, послы отдохнут, они с дороги. Если ты хочешь, конечно, — прибавила она тише и отступила обратно.

— Я подумала, — сказала Зулейха.

Таймус помолчал, а потом махнул писцу, и тот склонился над глиной.

— Пиши согласие.

Потом он посмотрел на дочь еще раз, снизу вверх, и в этом взгляде было что-то, чего Зулейха у него прежде не видела: он примерялся к незнакомому человеку и не мог решить, дорого ли тот стоит.

— Ты всегда была быстрая, — сказал Таймус. — Быстрым легче соглашаться и тяжелее потом.

— Мне не будет тяжело.

— Это не тебе решать. — Он отвернулся к писцу и прибавил уже другим голосом, служебным: — Радоваться пойдешь после. Сначала зайди к матери, ей сейчас тяжелее.

Она смотрела, как палочка идет по сырому, оставляя мелкие клинья, и ей хотелось, чтобы писец писал быстрее. Мать смотрела не на мужа и не на писца, а на дочь. Лицо у нее было такое, с каким пересчитывают вещи и одной не досчитываются.

Никто в приемной не назвал жениха по имени. Зулейха не спросила, как его зовут. Она знала.

Уходя, она нарочно прошла верхним переходом, откуда

виден двор. Послы сидели в тени у водоема, и слуги обносили их водой; одежда на них была легкая, тонкого льна, и держались они спокойно, как держатся люди, приехавшие за уже обещанным.

Она остановилась и стала слушать их речь. Язык был чужой, быстрый, с проглоченными концами слов, и она не понимала ничего. Но в этой скороговорке прошло знакомое слово, и всякий раз старший из послов при нем чуть наклонял голову, как наклоняют, говоря о том, кто выше тебя.

Значит, не приснилось. Значит, слово есть и оно оттуда.

Она держалась за перила, и ей хотелось засмеяться вслух, а было нельзя: внизу сидели чужие, а по дому и без того ходило, что госпожа занемогла.

Стан открылся им с холма, когда солнце уже легло на дальние гряды. Дым от очагов поднимался ровно, овцы сползали к загонам, и собаки внизу брехали не на них, а на что-то свое.

— Дальше кто говорит? — спросил тот, что нес рубаху.

Он держал ее на отлете, за самый край, и всю дорогу перекладывал из руки в руку, будто она мешала ему идти.

— Я говорю, — сказал Йахуза. — Уговорились же.

— Уговорились. Только у меня в глотке сухо.

— У всех сухо. И не пей, воды до утра мало.

Старший из братьев засмеялся, оглянулся на стан и смеяться перестал. Дорогой они повторили это столько раз, что

рассказ стал гладким, как обкатанный водой камень: отошли за отбившимися козами, оставили мальчика при поклаже, вернулись, а там уже нечего было делать.

— Ты не части, — сказал старший, когда до загонов оставалось немного. — Частят, когда врут. Говори медленно, как говорят через силу.

— Мне и так тяжело.

— Вот и хорошо. Значит, не соврешь.

Отец вышел из шатра прежде, чем их окликнули: он всегда узнавал по собакам, кто идет. Постоял, опираясь на палку, и оглядел их всех по очереди, и Йахуза видел, как их считают, не по головам, а по лицам, и одного лица не находят.

— Где он?

Йахуза начал говорить, и вышло даже лучше, чем на дороге. Голос сел, слова шли медленно, руки сами показывали, где были козы и где остался мальчик. К концу он почти видел этого волка сам: серую спину между кустов и то, как трава там примята.

Тот, что нес рубаху, шагнул вперед и протянул ее отцу обеими руками. Якуб взял не сразу. Он расправил рубаху на вытянутых руках и стал смотреть, и смотрел дольше, чем нужно человеку, чтобы узнать собственную работу. Пятна на крашеной шерсти были темные и уже сухие.

— Волк, — сказал он наконец.

— Волк, отец. Мы искали до темноты.

— Милостивый попался волк.

Он сложил рубаху вдвое, потом еще раз, ровно, как складывают на хранение, а не как берут в руки вещь, от которой воют.

— Мальчика съел, а одежду не тронул. Ни одной прорехи.

Йахуза ждал крика. Ему нужно было, чтобы отец сейчас швырнул рубаху ему в лицо, ударил палкой, проклял при всем стане, и внутри у него все было готово это принять и стерпеть.

Никто не закричал.

Старик прижал сложенную рубаху к груди обеими руками и постоял так, глядя мимо них, туда, где дорога уходила за холмы. Из шатров вышли женщины и остановились поодаль, не решаясь подойти. Собака подобралась к отцу, ткнулась носом в колено, и он не отогнал ее и не заметил.

— Что ж, — сказал он. — Мне остается терпеть.

И потом, уже поворачиваясь к шатру:

— Идите есть. Вы с дороги.

Это оказалось хуже всего. Их не выгнали, не прокляли и даже не расспросили второй раз, а позвали ужинать, и надо было идти к костру, садиться и брать хлеб.

У костра ели ячменную кашу. Кто-то из младших, не ходивших с ними, рассказывал про хромую овцу, и его слушали с преувеличенным вниманием.

— Серебро-то куда дели? — спросил вполголоса старший.

— Отдали за ячмень. Долг с весны висел, — отозвался другой, не поднимая головы от миски. — Не хватило еще.

— Значит, и не было ничего.

— Значит, не было.

Йахуза слушал их и думал, что вот так теперь и будет всегда: они станут говорить вполголоса, отвернувшись к огню, и с каждым годом все короче, пока не отучатся и от этого. А мальчишка жив, и его кормят, и он идет себе с караваном, и, может, ему там даже лучше, чем было бы дома. От этой мысли легче не сделалось.

Йахуза сидел с полной миской и не ел. В шатре у отца не зажгли светильника, и оттуда не доносилось ни звука: там не двигались и не говорили.

— Ты чего? — толкнули его в бок. — Ешь. Завтра гнать скот к дальней воде.

Лучше бы ударил, подумал Йахуза. И принялся есть, потому что завтра было гнать скот.

Лето кончилось, пока в доме считали, складывали и шили. Жара спала, а однажды утром оказалось, что во дворе стоят выюки, и вся ее жизнь увязана в сундуки и обшита грубым льном от пыли.

Мать пришла к ней накануне вечером, когда все уже было готово. Она села на край постели, развязала платок, и в платке оказались браслеты: те, что Зулейха видела на матери только по большим дням.

— Возьми. Они от моей матери, а ей достались от ее. Тяжелые, я знаю. Ты их не носи, если не хочешь. Пусть просто

будут с тобой.

Зулейха взяла. Золото было холодное и тяжелее, чем помнилось.

— Матушка...

— погоди. Я скажу сейчас, а то потом не решусь.

Мать разгладила покрывало ладонью, хотя оно и без того лежало ровно.

— Я ходила к твоему отцу. Еще летом, после того вечера у воды. Доходила до его двери и поворачивала. Не один раз.

— Зачем ты шла?

— Сказать, что с тобой делается что-то. — Она пожала плечами. — А потом всякий раз думала: и что я скажу? Что дочь стала тихая и не ест? Он бы велел позвать лекаря. Или сговорил бы тебя быстрее, только и всего.

— И ты не сказала.

— Не сказала. Я ждала, когда ты сама захочешь. — Мать подняла глаза. — Ты не захотела. А теперь и ждать нечего.

Зулейха открыла рот. Имя стояло у нее наготове, целое, и его хватило бы, чтобы объяснить все: и лето, и согласие, и почему ее не пугает море.

Она закрыла рот и промолчала.

Тогда мать пересела ей за спину, взяла с полки гребень и стала расчесывать ей волосы, как делала, когда дочь была маленькая и не давалась. Она вела гребнем от макушки и придерживала прядь у корней, чтобы не тянуло, и ни одна из них за все это время не сказала ни слова. Потом мать заплела

ей косу и завязала ее так туго, как заплетают в дорогу, а не на ночь.

Она посидела еще немного, потом вынула из-за пазухи влажную тряпицу, и в тряпице был отломленный побег с молодыми листьями.

— От твоего дерева. Я утром отломила, пока не видели. В дороге поливай из своей доли, не из общей, а то не дадут. Может, и примется у них.

Зулейха взяла побег и не нашла, что сказать.

К няньке она пошла сама, уже в темноте. Старуха не встала ей навстречу и не подвинулась.

— Уезжаешь.

— Уезжаю.

— Ну.

Зулейха села на пол напротив, как садилась все лето.

— Ты мне ничего не скажешь?

— А что говорить? Я тебе все сказала тогда, ты не слушала. — Нянька повела плечом. — Я говорила: назовешь и деться будет некуда. Назвала?

Зулейха промолчала.

— Ну и молчи, твое дело. — Старуха помолчала тоже и заговорила ровно, как читают опись. — Только запомни, девка. Это не дорога. Это перевозка. Дорогу человек выбирает сам и сам поворачивает, где хочет, а тебя везут.

— Я сама сказала «да». Меня никто не заставлял.

— Сама.

Нянька подняла на нее глаза, и в темноте они блеснули.

— Первый раз вижу, чтобы поклада сама просилась на осла.

Вышли до жары, в серой рани, когда во дворе еще держалась ночная прохлада. На пороге Зулейха задела ногой щербину. Ту самую, о которую спотыкались все, сколько она себя помнила, и за которой так и не позвали каменщика.

Отец вышел проводить и постоял рядом, пока ее сажали на лошадь.

— Не позорь меня там, — сказал он. — Больше мне сказать нечего.

Мать стояла у ворот и не подошла ближе. Она держала руки сложенными у пояса и смотрела так, как смотрят, когда хотят запомнить не лицо, а всю дочь целиком, с лошадьёю и выюками. Наиль ехала позади, среди поклажи, и за все утро не сказала ни слова.

За воротами Зулейха оглянулась один раз.

Она ждала, что сейчас внутри что-то оборвется, и была к этому готова с вечера. Ничего не оборвалось. Дом стоял целый, розовый с восточной стороны, дым уже шел из кухни, и во дворе кто-то гнал птицу к воде. Дом стоял и мог стоять так без нее сколько угодно. Вот тогда она и повернулась вперед и больше не оглядывалась.

К полудню кончились сады, а за ними и поля. Пошла земля пустая и желтая, и колокольчики на выюках стали слышны

так громко, как будто их прибавилось.

Песок оказался в еде в первый же день. Вода в кожаных мехах отдавала шкурой, и Зулейха пила ее и не жаловалась, потому что жаловаться было некому и не о чем: она сама попросилась.

К вечеру у нее сторели скулы и нос, и кожа на руках стала стягиваться. Побег она поливала из своей чаши, отпивая меньше, чем хотелось, и раз в день разворачивала тряпицу посмотреть, не пожелтели ли листья.

Погонщики между собой говорили о переходах и о том, где будет вода, и ни разу не сказали, сколько идти. Она спросила один раз и получила ответ, что придут вовремя, а раньше времени не приходят.

Вечером встали у пересохшего русла. Погонщики развели костер, развьючили ослов и стреножили ее лошадь, и разговоры быстро стихли.

Зулейха отошла от огня немного дальше, чем следовало. Впереди, там, куда ее везли, было темно и ровно, и оттуда тянуло сухим ветром прямо ей в лицо.

— Я еду к тебе, — сказала она.

Ветер унес ее слова в ту сторону, откуда она пришла.

Глава 4. Чужой дом

Она въезжала в город мужа и с первой улицы искала глазами одно лицо.

Город открылся сразу за последним холмом, и до этого утра она представляла себе только дорогу, а не то, чем дорога кончится. Дома здесь стояли теснее, чем у нее на родине, и выше. Пахло рекой, печеным хлебом и еще чем-то сладковатым и тяжелым, должно быть, тем самым ладаном, о котором говорили послы.

Улица глухо отдавалась под копытами выючных ослов, а над крышами кружили птицы, каких она прежде не видела. Наиль ехала рядом, кутаясь в дорожный плащ: солнце стояло еще низко, и от реки тянуло утренней сыростью. Служанка два раза открывала рот и так ничего и не сказала.

Караван свернул к воротам с медными накладками. Там уже ждали. Слуги в белом льне стояли по обе стороны дороги, кто-то бил в бубен, женщины бросали под ноги ослам сухие цветы.

Наиль привстала на осле и принялась считать встречающих вслух, загибая пальцы.

— Восемь, девять... да их тут полгорода, госпожа. Это они на вас смотреть пришли, не на угощение.

Где-то за домами протяжно закричал ослик, и ему тут же ответил другой, дальше по улице.

Зулейха смотрела не на цветы. Она искала среди встречающих то самое лицо, из снов, и торопливо оглядывала мужчин: этот стар, этот совсем еще мальчишка, этот по одежде слуга. Ни один не подходил.

Она сказала себе, что он выйдет позже. Отдельно.

— Госпожа, — тихо позвала Наиль, — платок поправьте. Съехал.

Зулейха поправила платок не глядя, не отводя взгляда от ворот.

За воротами открылся просторный двор, вымощенный светлым камнем. Посередине лежал прямоугольный водоем, по краям стояли колонны, расписанные синим и золотом. Она оглядела двор разом и тут же о нем забыла: двери дома уже открывались.

Из них вышел мужчина в годах ее отца, а то и старше. Крупный, но не рыхлый: плечи еще держали груз. Шел он тяжело и неторопливо, как ходят люди, у которых каждый шаг решен заранее. Виски совсем седые, лицо гладко выбрито, одежда тонкого льна, без единой лишней складки, с узкой золотой каймой по краю. Такую кайму носят не за красоту, а по должности.

Он остановился в двух шагах и слегка наклонил голову. Не поклон. Так здороваются с тем, кого признают равным по рождению, но не по весу в доме.

Зулейха увидела свое платье его глазами: пыль, песок, забившийся в складки еще три дня назад. От нее пахло доро-

гой. От него пахло только свежим бельем.

— Ты, значит, и есть Зулейха, — сказал он. Голос был ровный и сухой, каким называют вещи в описи. — Дорога тебя не сломила. Хорошо.

Зулейха ждала, что лицо вот сейчас переменится, окажется другим, моложе. Оно не менялось. Она искала в нем хоть что-то от голоса, который слышала во тьме, и не находила ничего.

Слуга у него за плечом обратился не к ней, а к своему господину:

— Мой азиз, вещи уже несут в дом.

Слово прошло мимо нее, ушло дальше по двору вместе со слугой и вернулось. Застряло.

Мой азиз.

Не имя, а обращение: так зовут не человека, а должность. Как отцом называют отца, не спрашивая имени. Она стояла и слушала, как слово это повторяют кругом, слуги и гости у ворот, и ни разу оно не прозвучало ничьим собственным именем. Его получали вместе с должностью и оставляли, уходя с нее.

Во сне он назвал себя Юсуфом. А потом сказал, что в Египте он азиз, и она унесла оба слова, как два имени одного человека.

Второе именем не было вовсе.

— Отец писал мне, что ты решаешь быстро, — сказал Азиз, разглядывая ее так, как разглядывают уже купленную

вещь, желая только убедиться, что она без изъяна. — Это у тебя от него?

— Не знаю, — сказала Зулейха. — Я никогда прежде так быстро ничего не решала.

— Тем лучше. Медленные решения дороже обходятся.

Он помолчал, оглядел двор, проверяя, все ли на месте, и заговорил снова:

— Ты растерялась. Это пройдет. Через месяц дом станет твоим, и растерянности не останется места.

— Через месяц, — повторила она одними губами.

— В доме есть свой распорядок. Я объясню его вечером, после того как ты отдохнешь с дороги. — Он повернулся к слуге. — Проводи ее и служанку. Пусть покажут покои и принесут воды.

— А как мне называть тебя? — спросила Зулейха. — Раз это не имя.

Азиз посмотрел на нее внимательнее, чем прежде.

— Так и называй. Меня все так называют, с тех пор как я в этой должности. Имя мое осталось при мне, но им никто уже не пользуется, даже я сам.

— А какое оно?

— Мне дали его при рождении, и с тех пор оно не понадобилось ни разу. Дому от него пользы нет.

Он сказал это ровно, без нажима, и вернулся глазами во двор. Зулейха открыла рот, чтобы спросить еще раз, но спрашивать было уже некого.

— А когда нас поженят? — спросила Зулейха.

— Уже поженили. Договор скреплен твоим отцом еще до того, как ты выехала. Здесь сегодня будет обряд для дома, соседи должны увидеть своими глазами, что в доме появилась хозяйка. Это дело не твое и не мое. Это дело дома.

Он ушел первым, не дожидаясь ответа. Дело было сделано, и разговор кончился вместе с делом.

Зулейха осталась стоять там, где ей указали. За спиной плескалась вода, как плескалась и перед тем, когда она еще ждала другое лицо.

Слуга повел ее и Наиль через двор, мимо колонн и малой купальни в дальнем углу. Зулейха не сказала ни слова, пока шли. Служанка попробовала заговорить дважды и оба раза замолчала сама, не дождавшись ответа.

Покои им отвели не сразу. Сначала провели через длинный переход, где на стенах был только голый камень, а после вывели в другой двор, тише первого, куда гостей не водили.

Стоянка не запоминалась ничем: пересохшее русло, десяток костров, привязанные ослы, которые всю ночь возились и всхрапывали. Мальчика вели от стоянки к стоянке дольше, чем собирались.

Юсуфа поставили у крайнего выюка, там, где свет от огня падал ровнее.

Торговец, что вел его от колодца, называл себя теперь иначе: караванным купцом. Голос у него был тот же, только сло-

ва подбирались другие, покрупнее. Держал он мальчика при себе так долго не из жалости: подросший и отъевшийся стоил дороже.

— Крепкий, — говорил он. — Не хворал в дороге. Кожа светлая, руки целые. За такого дальше на юге платят вдвое против здешней цены.

Покупатель, человек с плоским обветренным лицом, из тех, кто ночует на новом месте каждую ночь, обошел мальчика кругом, ощупал плечи и руки, проверяя, крепки ли, и повернул его лицо к огню за подбородок.

— Молчит, — сказал он.

— Молчит с самого колодца. Иные плачут, этот нет. Такие потом дольше служат, не ломаются с первого удара.

— А не хворый? Кашля не слышал?

— Здоров. Я свое берегу не хуже твоего.

Юсуф не отвел взгляда и не опустил его. Он смотрел мимо обоих, туда, где над кострами стояло чужое небо, без единой знакомой звезды.

— Сколько хочешь за него?

— Дал двадцать кусков серебра у колодца. Кормил, поил, довел в целости. Дешево не отдам.

— За мальчишку без ремесла и без языка ты просишь слишком много.

— Языку выучится. А ремесло ему подберут в Египте. Мне бы свое вернуть да получить за дорогу.

Они торговались долго и привычно, как торгуются о меш-

ке зерна. Оба знали цену заранее и все равно тянули время. В конце концов покупатель согласился на небольшую прибавку.

Когда ударили по рукам, покупатель впервые заговорил прямо с мальчиком:

— Как звать?

Юсуф ответил не сразу. Сначала он посмотрел покупателю в лицо, прикидывая, стоит ли тому знать о нем хоть что-то настоящее.

— Юсуф.

— Ну, Юсуф. Дорога у нас с тобой длинная. — Покупатель мотнул головой туда, где земля уходила на закат. — Пойдем на юг, к морю, а там как ляжет. Может, и до Египта дойдем. Слышал про такую землю?

Мальчик посмотрел туда. Различать было нечего: плоская темная земля, а свет собирался у них за спиной.

Торговец пересчитал серебро и, не оборачиваясь, крикнул в темноту:

— Гоните скотину к воде, светает.

Еще до полного света на стоянке остались только пепел и вытоптанная пыль. Костры затоптали, ослов навьючили заново, и караван тронулся, оставляя зарю за спиной.

Дорога была еще длинной, и никто не считал ее в годах. Тот, кто мерил ее серебром, получил свою прибавку и на том с мальчиком расстался.

К вечеру в доме зажгли столько светильников, что весь двор стоял в ровном желтом свете. Масло в них было не простое, кунжутное, с горчинкой в запахе, и к нему примешивался кедровый дух от обшивки зала и от резных подставок под кувшинами.

На столах стояли лепешки, виноград, жареные гуси на широких блюдах, темное ячменное пиво в глиняных чашах, то же, что дома, только чаш было больше, чем гостей.

Пришли гости: соседи Азиза по положению, их жены, несколько писцов из тех, что повыше прочих. Зулейха сидела на возвышении рядом с мужем, в новом платье, которое ей принесли еще днем, и слушала, как ее имя произносят люди, которых она видела впервые в жизни.

— Дочь дальнего царя, надо же, откуда привезли, — говорили одни.

— Повезло ее отцу. Сбыл с рук достойно, — говорили другие, тише, но не настолько, чтобы не расслышать.

Один из писцов наклонился к соседу и спросил вполголоса, много ли за нее дали. Тот ответил, что дело не в цене, а в связях, которые через такой брак достаются дому, и оба одобрительно покивали.

— Не ест ничего, — сказала одна из жен, глядя на нее поверх чаши. — Дома, видать, кормили слаще.

— Молодая. Наестся еще.

Зулейха улыбалась, потому что от нее ждали улыбки, и старалась не думать, долго ли еще продлится вечер. И все

равно отсчитывала его: по числу перемен на столе, по тому, сколько раз сменились музыканты у стены зала.

Стены здесь были расписаны так же, как во дворе, синим и золотом, тростником и птицами. От росписи зал казался просторнее, чем был на самом деле. Зулейха разглядывала ту же стену третий раз за вечер. Птицы на ней летели все в одну сторону, ровным рядом, и передняя была не ближе к краю, чем последняя.

Азиз почти не заговаривал с ней при гостях. Иногда спрашивал, довольна ли она угощением, тем же тоном, каким спрашивают, не дует ли из окна. Она отвечала одним словом. За весь вечер между ними не случилось ни одного взгляда, который согрел бы ее потом, ночью.

Соседка по столу, судя по тому, как свободно она держалась, была здесь не гостьей, а хозяйкой такого же дома. Крашеная шерсть на ней была тяжела для летнего вечера, и она то и дело поводила плечами, поправляя ее. Она наклонилась к Зулейхе, не переставая улыбаться в сторону зала.

— Устала с дороги, поди. Ничего, первый вечер самый долгий. Дальше привыкнешь.

— Привыкнешь к чему? — спросила Зулейха.

Женщина не ответила прямо, а повела рукой, показывая весь зал разом.

— Ко всему этому, госпожа. У тебя теперь все есть: дом, имя, положение. Немногим достается столько сразу.

— А тебе досталось? — спросила Зулейха.

Женщина рассмеялась, коротко и не очень весело, и ничего не ответила. Зулейха посмотрела мимо нее, на расписанную стену за ее плечом.

Один из гостей громко спросил у Азиза, доволен ли тот сделкой с далеким царем. Азиз помолчал, отпил из чаши и сказал так, как говорят о партии зерна:

— Царь дальней страны отдал дочь в достойный дом. Я получил дом, в котором теперь есть хозяйка. Стороны довольны, сделка честная.

Гости засмеялись, кто-то поднял чашу за здоровье молодой госпожи. Зулейха подняла свою следом за всеми и не отпила ни глотка.

Соседка снова наклонилась к ней, теперь тише:

— Не обижайся на него. Он так со всеми, не только с тобой. Просто у него все дело, даже то, что делом не бывает.

— А что бывает делом? — спросила Зулейха.

— Здесь почти все, госпожа. Скоро сама увидишь.

Она отвернулась к своей чаше и больше в тот вечер к разговору не возвращалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.